

Максим Горький

В ущелье



Максим Горький

В ущелье

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=637045

Аннотация

«В горном ущелье, над маленькой речкой – притоком Сунжи – выстроили рабочий барак, – низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он ещё не закончен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого тёса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон...»

Максим Горький

В ущелье

В горном ущелье, над маленькой речкой – притоком Сунжи – выстроили рабочий барак, – низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он ещё не закончен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого тёса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон.

В помощь плотникам и для охраны барака ночами от вороватых горцев молодой, крикливый студент-путеец, заведующий постройкой, прислал в ущелье троих сторожей: отставного солдата Павла Ивановича, меня и ещё какого-то вихрастого человека с казачьим лицом.

Мы трое – люди «худые», а плотники – солидны, сыты, все в крепкой одежде, все – пожилые, и есть в них что-то общее, тяжёлое – кабанье. Они не ответили на приветствие наше, смотрят на нас неласково, подозрительно, и мы, обиженные холодной встречей, держимся в стороне от них: набросали в узкую речку камней и, устроив брод, перешли на другой берег, на солнце, в хаос серых обломков горы.

Старшой у плотников – костлявый старичок, в белой рубахе и штанах. Точно к смерти оделся. Он ходит без шапки, у него жёлтая – во всю голову – лысина, широкий, серый нос;

старая кожа на лице и шее ноздревата, как пемза, глаза мутнозелёны. Но за тёмными губами – плотный ряд мелких зубов, серые волосы бороды, подстриженной по-татарски, густы и, видимо, мягки. Он не работает, а всё время неугомонно ходит около барака по золотой стружке, заткнув за пояс очень отогнутые большие пальцы рук. Измеряя барак, людей, работу неподвижным взглядом немых глаз, он поёт гнусаво, подхалимисто, но внятно:

Боже, боже, мой отец!
Дал ты тяжкий мне венец!
Буду я тебя просить:
Как же мне его сносить?

Нам делать нечего, и мои товарищи маются-страдают в скуке безделья; один полез зачем-то на гору, слышно, как он там посвистывает и ломает тяжёлыми ногами сухие ветви. Солдат устроил в щели, между камней, пышное ложе из мелких веток, лежит на животе и непрерывно курит крепкий горский табак из хорошей фарфоровой трубки, мутносонными глазами поглядывая на игру реки.

Я сижу над рекою на камне, опустив в холодную воду ступни ног, зашивая рубаху.

Гулкое эхо тревожно носит по ущелью чужие ему звуки: хряские удары топоров, плач пилы, всхлипывание рубанка, говор людей.

Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыроватый ве-

тер, на горе за бараком тихонько шумят стройные лиственницы.

С высоты густо льётся пьяный, жирный запах гниющей хвои, смолы, прелой земли, там, в тихой мгле, всё время неясно звучит мягкий, усыпляющий шопот.

На сажень ниже барака бежит по камню, торопливо и звонко, пенно-белая река, звуков – немного, но кажется, что всё вокруг поёт и говорит, заставляя людей молчать.

Наш склон залит солнцем, всё выгорело на нём, он покрыт золотисто-рыжей парчой и дышит сладким запахом иссохших трав. Из тёмных щелей между камнями огненными копьями напряжённо поднялись на длинных стеблях красные конусы странных цветов, – это бесстыдные цветы упрямого растения, которое зовут каменоломкой. Глядя на них, хочется громко петь, телом овладевает сладкая истома.

Хороша река, – вся в трепетном кружеве снежной пены, она бежит, играя, по цветным камням, округлённым ею, камни шелковисто просвечивают сквозь янтарное, на солнце, стекло воды, точно пёстрый ковер или дорогая шаль из Кашмира.

Устье ущелья выходит в долину Сунжи, там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск; оттуда врывается в горы глухой гул, точно выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист рабочего паровоза, сердитые крики людей.

До выхода в долину не больше ста шагов, и когда, выйдя, взглянешь влево – видно ровную степь Предкавказья, ограж-

дённую стеною синих гор, над ними – среброкованное седло Эльбруса. Степь почти вся в сухом жёлтом свете, она кажется песчаной, кое-где среди неё вспухли сады, и от их тёмных пятен жёлтый свет ещё горячий. Кусками сала или сахара разбросаны белые хаты хуторов, около них чёрные тополя, игрушечные люди, чуть передвигаются маленькие вола, и всё тает в струях знойного марева.

Степь точно шелками вышита; когда смотришь на неё и в синеву над нею – невольно, сами собою напрягаются мускулы, хочется встать и, закрыв глаза, – идти, без конца идти, с тихой, о чём-то грустном, песней на устах.

С правой руки – извилистая долина Сунжи, снова горы, синее небо над ними, сизая мгла во впадинах гор и неугомонный шум работы – глухие выстрелы, мощные взрывы освобождённой силы.

Но – пройдёт минута, эхо нашего ущелья спрячет все звуки в лесу и морщинах камней – снова ущелье тихо и ласково поёт свою песню.

Если смотреть в его глубину, оно, суживаясь, поднимается всё выше в сизый туман; туман, густея, закрывает его синим занавесом, а ещё выше, под самым небом, тоже синим, тает-плавится на невидимом солнце ледяная вершина Карадага, а над нею – светлая, непоколебимая тишина небес.

Преобладает сизовато-синий странный цвет, и, должно быть, от него всё время волнует душу незнакомое ещё беспокойство, что-то неясное тревожит сердце, горит в нём пья-

ным пламенем, будит непонятные мысли и куда-то зовёт.

Старик в белом смотрит из-под руки в нашу сторону и тянет, скрипит надоедно:

Ай, – кто по лево стороне,
Идёт прямо сатане.
Кто ж по право стороне,
У того финик в руке...

– На-ко вот, – слышал? – сквозь зубы говорит солдат. – Финик, чу... Мнеманит, видать, а то – молокан. Хоша – это всё едино у них, разобрать нельзя. Баловники. Финик!..

Мне понятно раздражение солдата, – назойливое, одно-тонное пение старика не к месту здесь, где всё поёт само для себя так славно, что не хочется слышать ничего, кроме мягкого шороха леса, звона реки. Но особенно неуместными кажутся слова: финик, менонит...

Солдат не нравится мне, он тоже чему-то мешает. Это человек средних лет, коренастый, квадратный, обесцвеченный солнцем. Его полинявшие глаза смотрят с плоского лица невесело, смущённо. Нельзя понять – что он любит, чего ищет? Обойдя весь Кавказ кругом от Хасав-Юрта до Новороссийска и от Батума до Дербента, трижды перевалив через хребет по Грузинской, Осетинской дорогам и по Дагестану, он говорит, неодобрительно усмехаясь:

– Нагромоздил господь...

– Не нравится?

– Да – на что это? Лишнее всё...

Медленно ворочая жилистой шеей, он оглядывается, добавляя:

– И леса не такие.

Калужанин, он служил в Ташкенте, дрался с текинцами, был ранен камнем в голову, – рассказывает он об этом, виновато усмехаясь, опустив стеклянные глаза:

– Досадно сказать – баба меня тяпнула, – там, брат, у них и бабы воюют завсяко-просто, не то ли что! Деревня эта ихняя – Ахал-Тяпа – взята была, перекололи их невесть числа сколько, прямо – гроздьями лежат, кровища везде – идти мокро! Ну, и мы, – наша рота, – лезерв, тоже входим в улицу, вдруг как меня хватит по башке! Оказалось – баба с крыши камнем. Сейчас её прикололи...

Он нахмурился и строго сказал:

– А что бабы у них бреются – это враки. Я – глядел: приподнимешь штыком подол у которой убитой – всё как следует. Баба, всё больше, – сухая и хоша козлом пахнет, ну – ничего всё-таки...

– Страшно на войне?

– Не знаю. Другие, которые в сражениях бывали, говорят – страшно. Текинец – злой очень и – не даётся. Ну, я этого тоже не знаю, я всё в лезерве был, наша рота в самую штурму не ходила, а, лёжа на песочке, издаля пуцала. В лезерве – не страшно, а просто – тяжело очень. Там – сплошь песок, и – нельзя понять, из-за чего драка затеялась? Диви бы хоро-

шая земля, ну, тогда, конечно, есть интерес отнять. А то – голым-голо! Рек – тоже не полагается, а – жарница, и до смерти пить охота. Многие даже и помирали от жадьбы к воде. Растёт там, братец мой, вроде проса, называется – джугара, пища противная на вкус и обманная, – сколько хочешь ешь, сыт не будешь.

Рассказывает он нудно и бесцветно, с большими паузами, как будто ему тяжело вспоминать пережитое или он думает всегда не о том, что говорит. И, рассказывая, он никогда не смотрит в лицо собеседника – глаза его виновато опущены.

Тяжёлый, нездорово полный, он весь налит каким-то мутным недовольством, ленивым отрицанием.

– Это всё земли неудобные для жилья, – говорит он, оглядываясь вокруг, – это для безделья земли. Тут и делать ничего не охота, просто – живёшь разинув глаза, вроде пьяного. Жара. Духи-запахи, всё одно как аптека або – лазарет...

В этой жаре он, как очарованный, бродит, кружится восьмой год.

– Ты бы шёл домой, в Рязань, – сказал я ему однажды.

– Ну, там делать мне тоже нечего осталось, – странно расставляя слова, сказал он сквозь зубы.

Я заметил его в Армавире, на станции, где он, багровый с натуги, дико вытаращив глаза, топал ногами, как лошадь, и, взвизгивая, орал на двух греков:

– Рёбра вырву с мясом!

Тощие, копчёные, лохматые греки, оба на одно лицо, ис-

пуганно оскаливая белые, острые зубы, уговаривали его:

– Зито грисите?

Он бил себя кулаком в грудь, как в барабан, не слушая их, кричал всё яростней:

– Вы – где живёте? В России? Кто вас кормит? Россия, сказано, – матушка! А вы – что говорите?

Потом он стоял рядом с толстым седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему:

– Все нас, земляк, ругают, а все лезут к нам, – греки эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну – не досада?

Третий из нас был человек лет за тридцать, в казачьей фуражке и с казачьим вихром над левым ухом, круглолицый, большеносый, с тёмными усами на вздёрнутой губе. Когда суетливый студент подвёл его к нам и сказал: «Вот ещё этот с нами», – он взглянул на меня сквозь ресницы быстрым взглядом неуловимых глаз и сунул руки в карманы гурийских шаровар, с широкой мотнёй; а когда мы пошли, он, вынув левую руку, медленно провёл ею по тёмной щетине небритого лица и спросил звучно:

– Из России?

Ну, а то откуда? – недружелюбно молвил солдат.

Человек молча закрутил правый ус и спрятал руку. Широкоплечий, сложенный ладно, он был, видимо, очень силен; шагал широко и легко, как человек, привыкший преодолевать большие расстояния, но ни котомки, ни узелка не бы-

ло у него. Брезгливо вздёрнутая губа его и глаза, прикрытые ресницами, стесняли меня, настраивая подозрительно, почти враждебно.

Но в ущелье, идя впереди нас по каменной тропе, вдоль речки, он вдруг обернулся к нам и, кивнув головой на весёлую игру воды в реке, сказал:

– Сваха!

Солдат, приподняв белесые брови, подумал, поглядел вокруг, потом шепнул:

– Дурак!

А мне показалось, что человек сказал верно: эта бойкая, гибкая речка очень напомнила болтливую, весёлую бабёнку, которой нравится устраивать любовные дела, не только ради своих выгод, а больше для того, чтоб люди поскорей узнали великие радости любви, которыми она живёт не уставая и весело торопит всех приобщиться к ним.

Придя к бараку, человек с казачьим лицом снова поглядел на реку, на горы, в небо и всё одобрил сочным, круглым словом:

– Славно!

Солдат, сняв со спины тяжёлую котомку, выпрямился и спросил, упёршись руками в бока:

– Что – славно?

Тот посмотрел на широкую фигуру, обвешанную серыми лохмотьями, точно камень мохом, усмехнулся, говоря:

– А ты не видишь? Гора, в горе – дыра, – али плохо?

Он отошёл прочь, а солдат, глядя в спину ему, снова шепнул:

– Совсем дурак...

И громко, мрачно выговорил:

– Лихорадки, наверно, живут здесь здоровенные...

Под вечер две дородные бабы принесли плотникам ужин, шум работы тотчас оборвался, шорох леса и говор воды стали звучней.

Солдат, не торопясь и побрякивая, собрал большую кучу ветвей и щепы, зажёл небольшой костёр и, аккуратно прилаживая чайник над огнём, посоветовал мне:

– Ты бы тоже пособирал дров на ночь. Ночи здесь холодные, чёрные.

Собирая щепу, я наткнулся в камнях около барака на вихрастого человека: опершись на локоть, поддерживая голову ладонью, он читал лежавший на земле большой лист крупно исписанной бумаги. Подняв на меня широко открытые глаза, он задумчиво и вопросительно взглянул в лицо мне, – один глаз у него был больше, другой – меньше.

Он, должно быть, понял, что интересуется меня, улыбнулся, но я прошёл мимо его, смущённый этой улыбкой.

Около барака молча ужинали плотники, усевшись в два кружка, в каждом – по женщине.

Ущелье зарастало мглою; становясь всё гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, камни как будто пухли, слива-

ясь в сплошную массу синеватой черноты; в глубине ущелье уже сплошь залилось ею, крутые склоны его оплыли и сомкнулись. Всё вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое-огромное.

Красные цветы тихонько гасят свой волнующий огонь, вместо них мягко вспыхнула вершина Карадага, осеянная багряной пылью заката, порозовела пена реки, но звон её примолк, льётся глуше, задумчивей, и онемел лес, спустившись ближе к воде.

Пьяные запахи стали крепче и слаще, сытно пахнет смолистым дымом костра.

Солдат, сидя на корточках перед маленьким огнём, управляет угли под чайником.

– А где тот? Зови его... – тихо говорит он.

Я иду, как во сне. У барака кто-то вздохнул густо и певуче:

– Сколь велика сия дело...

Два женских голоса негромко и голодно тянут:

Тоску плоти смирю-у...

Тело духу покорю...

Душу вос-хва-лю-у...

Крепко плоть утолю...

Слова они выговаривают чётко и в конце каждого стиха медленно опускают куда-то во тьму, в землю, волчий звук:

– У-у...

Когда я позвал ужинать человека с вихром, он гибко вско-

чил на ноги, смял письмо, сунул его в боковой карман истёртого пиджака и сказал мне, улыбаясь:

– А я хотел к плотникам идти, – не дадут ли хлеба? Давно не ел...

И, подойдя к солдату, он повторил эти слова, как бы удивляясь их смыслу.

– Они – не дали бы! – убеждённо сказал солдат, развязывая котомку. – Они нас не любят.

– Кого – нас?

– А вот – тебя, меня. Русских. Они вон поют про финики, – это значит, они – сехта, называемая менмониты...

– Просто – молокане, – сказал вихрастый, подсаживаясь к огню.

– Ну, хоть молокане, всё едино! Немецкая вера. Все они преданы немцу, а до нас – неприветливы.

Вихрастый взял краюху хлеба, отрезанную солдатом от каравая, луковицу, кусок сала и, оглядывая всё это добрыми глазами, взвешивая на ладони, говорил:

– У них тут недалеко, на Сунже, своя колонка, – был я там. Люди – чёрствые, это верно. А русских здесь никто не любит и – за дело, плохой всё народ валится сюда из России...

– А ты откуда? – строго спросил солдат.

– Я? Положим – курский.

– Из России, значит!

– Ну, так что? Я себя хорошим человеком не считаю...

Солдат недоверчиво поглядел на него и сказал:

– Это – словесность, это просто – езуитство! Таких людей, чтобы хорошими себя не считали, – таких, брат, нету!

Вихрастый не ответил, набивая рот хлебом, солдат подождет, хмуро окинул его глазами и начал снова:

– А вид у тебя – будто ты с Дона...

– Бывал и на Дону...

– А на службе был?

– Нет. Один сын.

– Из мещан?

– Из купцов.

– А как звать?

– Василий, – не сразу и неохотно ответил курянин.

Было ясно, что он не хочет говорить про себя, и солдат замолчал, снимая кипящий чайник с огня.

Молокане зажгли за углом барака костёр, яркие отблески огня лизали жёлтый тес стены, она качалась, таяла – вот-вот польётся золотым ручьём по тёмной земле.

Невидимые нами плотники всё громче пели, басы скучновато выводят:

Возопой, андел свят...

Высокие голоса недружно и холодно откликались:

Возопой!..

– Христу славу, андел свят,

Возопой!..

– Воспоём и мы с тобой, —
Андел свят...

Это пение, не мешая слышать плеск воды и шорох камня в мелком русле реки, было ненужно здесь и возбуждало досаду на людей не умеющих найти песню, которая звучала бы в лад со всем живым, что вздыхает вокруг них.

В ущелье совсем темно, только устье ещё не завешено чёрным пологом южной ночи, и синевато-светел блеск реки там, где она выбегает в долину, прикрытую густо-синим туманом.

Во тьме один из камней стал похож на монаха: стоя на коленях, согнув голову в острой скуфье, он молится, и лицо его закрыто руками.

Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском дворе, вот такой же тёмной и жаркой ночью, сидя у стены длинного здания келий, я рассказывал послушникам разные истории, – вдруг из окна, над моей головой, кто-то сказал ласково и молодо:

– Благослови вас мать божия на доброе миру!

Окно закрылось раньше, чем я успел увидеть, кто сказал эти слова, но там был хромой, большеглазый монах, очень похожий лицом на Василия, – вероятно, это он пожелал добра людям: бывают такие минуты, когда всех людей чувствуешь как своё тело, а себя – сердцем всех людей.

...Василий не торопясь ест хлеб; отломив от краюхи небольшой кусок, он расправляет им усы и аккуратно прячѐт

в рот; около ушей под кожей у него катаются шарики.

Солдат – поел, он ест мало и лениво; бережно достал из-за пазухи трубку, насовал в неё табаку, достал пальцами уголь из костра, закурил и, прислушавшись к пению молокан, сказал:

– Сыты, а – воют! Всё с богом спорятся.

– А тебе что? – улыбнувшись, спросил Василий.

– Не уважаю я этот народ. Не столь они праведники, сколько привередники... бог у них – первое слово, а второе – целковый...

– Вот ты как? – удивлённо воскликнул Василий и звучно засмеялся, со вкусом, сквозь смех, повторив:

– Бог – первое слово, второе – целковый! Это, земляк, очень верно! Ну, а всё-таки, – ласково заговорил он, – стеснять людей не надо. Ты – их будешь стеснять, они – тебя, – что толку? У нас и так рта открыть нельзя, – своё слово сказать – сейчас все кулаки в твои зубы...

– Положим – так, – примирительно сказал солдат, взял в руку квадратный отрезок тесины и внимательно стал осматривать его.

– А какой ты народ уважаешь? – спросил Василий, помолчав.

Солдат, окутав лицо своё серым облаком дыма, сунул отрезок в огонь.

– Уважаю я, – начал он внушительно, – русский народ, настоящий, который работает на трудной земле. А которые

здесь – что такое? Здесь жить просто: и всякого злаку больше, и земля лёгкая, благодушная, – копнул её – она и родит, на – бери! Здесь земля – баловница! Прямо сказать – девка земля: раз её коснулся, и ребёнок готов...

– Так, – сказал Василий, прихлёбывая чай из жестяной кружки. – А я бы вот всех из России сюда перевёл.

– Это – для чего?

– Чтобы жить.

– А там – не умеют?

– Ты зачем сюда сошёл?

– Я? Я человек одинокий.

– А отчего ты одинок?

– Ну... так мне положено! Судьба такая, стало быть...

– Тебе бы подумать, – зачем она такая...

Солдат вынул трубку изо рта, отнёс руку с нею в сторону, а другою рукой удивлённо огладил своё плоское лицо. Он – помолчал и вдруг ворчливо заговорил обиженным голосом, неуклюжими словами:

– Зачем, зачем! Причинов для того многое количество! Напримерно: которые люди живут-думают несогласно со мной, то они мне все неприятны, и я от них отхожу прочь. Я – не поп, не становой или, там, что... Подумал бы! Ты один думаешь? Умник...

Он вдруг рассердился, сунул трубку в рот и замолчал, нахмурясь, а Василий поглядел на красное пред огнём его лицо и тихонько сказал:

– Вот то-то и оно, ни с кем не согласны мы, а своего устава у нас нету. Живём без корней, ходим из стороны в сторону, да всем мешаем, за то нас и не любят...

Солдат выпустил изо рта облако дыма и спрятался в нём. Хороший голос был у Василия – гибкий, ласковый, слова он выговаривал чётко и кругло.

В лесу назойливо кричит горная сова – пышная, рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми серыми ушами. Однажды я увидел эту птицу днём среди камней, над головою у себя, и очень испугался её стеклянных глаз: круглые, как пуговицы, они были освещены изнутри каким-то угрожающим огнём, с минуту я стоял, обомлев от страха, не понимая – что это?

– Откуда у тебя трубка такая хорошая? – свёртывая папиросу, неожиданно спросил Василий. – Старая, немецкая трубка...

– Не бойсь, не украл! – ответил солдат, снова вынув трубку и с гордостью оглядывая её. – Женщина одна подарила...

И, злодейски подмигнув, вздохнул.

– Рассказал бы – как? – тихонько предложил Василий и вдруг, взмахнув руками, потягиваясь, с тоской пропел:

– Ночи же здесь... не дай бог какие злые ночи! Будто хочется спать, а – не спится, и гораздо лучше спишь днём, в тени где-нибудь. А ночами – просто с ума сходишь, всё думается не знай о чём. И сердце растёт, поёт...

Внимательно вслушиваясь, солдат удивлённо открывал

рот, белые брови его вползали всё выше.

– И у меня тоже! – тихо сказал он. – Всегда, почитай...
Что такое?

Я хотел сказать:

«И у меня тоже, братцы!»

Но они так странно всматривались друг в друга, точно каждый только сейчас увидел другого против себя. И тотчас же озабоченно, наперебой стали опрашивать один другого – кто, где был, откуда и куда идёт, – точно родственники, неожиданно встретившиеся и только сейчас узнавшие о своём родстве.

Над богатым огнём костра молокан протянулись чёрные, лохматые лапы сосен, – словно греются, ловят огонь, хотят обнять и погасить его. Иногда огонь потянет к реке, красные языки высунутся из-за угла барака, – кажется, что барак загорелся. Ночь становится всё гуще, душистей, всё ласковее обнимает тело; в ней купаешься, как в море, и как морская волна смывает грязь кожи, так и эта тихо поющая тьма освежает душу. Такими ночами душа одета в свои лучшие ризы и, точно невеста, вся трепещет, напряжённо ожидая: сейчас откроется пред нею нечто великое.

– Кривая? – тихо спрашивает Василий, а солдат не торопясь говорит:

– Сызмала, пяти годов упала с воза, ушибла глаз, вытек. Ну, это у неё не заметно: просто закрыт глазок. И вся она – аккуратная, круглая. Доброты в ней, гляжу, – как воды в ру-

чьё этом, неистребимо много! Ко всему свету добра: ко скоту, к нищему, ко мне. Защемило мне сердце: эх, думаю, чего с солдатом не бывало? Ну, пускай, хозяйская она любовница, а – попробую! Так, сяк – ничего! Выставит локоть супротив меня, и – кончено!..

Василий лежит на спине и, шевеля усами, жуёт былинку; глаза у него широко открыты, и ясно видно: левый глаз больше правого. Солдат сидит у его плеча, помешивая в костре обгорелым сучком, над костром летают золотые искры, какие-то серые мошки безмолвно вьются над ним, тяжёлыми хлопьями падают в огонь ночные бабочки и, потрескивая, сгорают. Я лежу и, слушая знакомую мне историю, вспоминаю людей, мимо которых когда-то прошёл, слова, коснувшиеся сердца.

– Вот раз я собрался с духом, застиг её в амбаре, прижал в угол и говорю: «Ну, говорю, так или нет? Как хошь, а я – солдат, человек нетерпеливый!» Она – бьётся: «Что ты, что ты?» И плачет, словно бы девица, и говорит сквозь слёзы: «Не тронь меня, не гожусь я тебе; люблю, говорит, я другого человека – не хозяина, а – другого», – тоже работником жил у них, ушёл он, сказал. «Жди, найду хорошее для житья место – вернусь, уведу тебя туда». Семнадцатый месяц нет ни слуха ни духа о нём, может – забыл, может – пропал, убил кто. «Ты, говорит, сам мужчина и должен понимать, что надобно мне сохранить себя до времени!» Мне, конечно, обидно, чем я хуже другого-то? Обидно, а – и жаль её, и грустно

тоже, вроде как обманула она меня: всегда показывала себя весёлой, а у самой – вон что на сердце! И погас я, не могу её тронуть, хоть и в руках она у меня. «Ну, говорю, тогда – прощай, уйду я». – «Уйди, говорит, Христа ради, пожалуйста». К вечеру на другой день заявил я хозяину расчёт, а на заре, в воскресенье, собрался, ухожу, тут она мне и вынесла трубку эту: «Прими, говорит, Павл Иваныч, в память, ты, говорит, стал мне как брат родной, спасибо тебе!» Как пошёл я – чуть не заплакал, ей-богу! Так, братец ты мой, сердце защемило – беда.

– Это – хорошо! – тихонько сказал Василий. – Вот так всегда и надо. Да? Да! Сошлись. Нет? Нет! Разошлись. А стеснять друг друга – зачем?

Попыхивая серым дымом, солдат задумчиво проговорил:

– Хорошо-то оно, брат, хорошо, да больно грустно...

– Это – бывает! – согласился Василий и, помолчав, добавил: – Это частенько бывает с хорошими людьми, в ком совесть жива. Кто себя ценит, он и людей ценит... У нас это – редко, чтобы умел человек себя ценить...

– У кого – у нас?

– Да вот – в России...

– Не уважаешь ты, брат, Россию-то, видать... Что это ты? – спросил солдат странным тоном, как бы удивляясь и сожалея. Тот не ответил, и, подождав с минуту, солдат снова начал вполголоса:

– А то вот – ещё была у меня история...

Люди за бараками утомонились, костёр догорает, на стене барака дрожит красное, заревое пятно, с камней приподнимаются тени. Один из плотников, высокий мужик, с чёрной бородой, ещё сидит у костра; в руке у него тяжёлый сук, около правой ноги светится топор: это сторож, поставленный против нас, сторожей.

Не обидно.

Над ущельем, на изорванной по краям полосе неба сверкают синие звезды, кипит и звенит вода в реке, из плотной тьмы леса доносится тихий хруст – осторожно ходит ночной зверь, и всё кричит, уныло, сова. Единое-огромное насквозь пропитано затаённой жизнью, сладко дышит – будит в сердце неутолимую жажду хорошего.

Голос солдата напоминает отдалённый звук бубна, редкие вопросы Василия задумчиво певучи.

Мне нравятся эти двое людей, в тихой беседе их всё растёт что-то славное, человечье. Суждения вихрастого человека о России возбуждают сложное чувство, хочется спорить с ним, и хочется, чтоб он говорил о родине больше, яснее. Нравится мне этой ночью вся жизнь, – всё, что я видел в ней, теперь повторно идёт предо мною, точно кто-то рассказывает, утешая, знакомую сказку.

Жил в Казани студент, белобрысый вятч, – точно брат солдата и такой же аккуратный, – однажды я слышал, как он сказал:

– Прежде всего я узнаю: есть бог или нет? Начинать нужно

с этого...

Там же была акушерка Велихова, женщина очень красивая и, – говорили, – распутная, однажды она стояла на горе, над рекой Казанкой, за Арским полем, глядя в луга и на синюю полосу Волги вдаль; смотрела туда долго, немо и вдруг, побледнев, радостно сверкая хорошими, о слезах, глазами, вскрикнула тихо:

– Нет, друзья мои! Поглядите же, какая земля наша милая, какая она прекрасная! Давайте поклянемся пред нею в том, что будем честно жить!

Поклялись: дьякон – студент духовной академии, мордвин из инородческой семинарии, ветеринар-студент и два учителя; после один из них сошёл с ума и помер, разбив себе голову.

Вспомнился мне человек на пристани Пьяного Бора, на Каме, высокий, русский молодец с лицом озорника и хитрыми глазами. Было воскресенье, жаркий праздничный день, когда всё с земли смотрит на солнце своей лучшей стороной и точно говорит ему, что недаром оно потратило светлую силу, живое золото своё. Человек стоял у борта пристани, одет в новую, синего сукна поддёвку, в новом картузе набекрень, в ярко начищенных сапогах, он смотрел на рыжую воду Камы, на изумрудное Закамье, в серебряной чешуе мелких озёр, оставленных половодьем, – там, за Камой, солнце упало на луга и расколосось в куски. Человек улыбался; всё хмельней становилась улыбка молодого – в тёмной бородке – лица, всё

ярче разгоралось оно радостью, и вдруг, сорвав картуз с головы, парень сильным размахом шлёпнул его в воду золотой реки и закричал:

– Эх, Кама, матушка родная, – люблю! Не сдам!
...Много видел я хорошего!

Мне хочется пересказать товарищам всё, что вспомнилось, хочется, чтоб они порадовались, посмеялись, но – они оба уже спят.

Над горою поднялась, выщербленной секирой, половинка луны, слабый свет лёг на тёмные вершины деревьев и, падая в реку, серебряной тканью полощется в ней, освещает круглый камень, похожий на синий, бритый череп горца.

Солдат уснул сидя, – привалился спиною к своей котомке и похрапывает, свесив голову на плечо, устало положив руки на колена. Василий вытянулся струною; он лежит вверх лицом, руки под голову, его красиво очерченные тёмные брови чуть-чуть приподняты и усы тоже вздёрнулись. Он плачет во сне: по бурым его щекам текут слёзы, в лунном свете они кажутся зеленоватыми, точно камень хризолит или горькая вода моря... Странно видеть слёзы на этом мужественном лице.

Звенит река, потрескивает костёр, перед ним согнулась, окаменев, тёмная фигура сторожа, красные отблески обнимают её; топор на земле светится, как луна в небе.

Спит земля, и всё ближе к ней опускаются звёзды.

В полусонном безделье медленно протёк день, влажная

теплень, звон реки, пьяные запахи леса и цветов отравили нас ленью; с утра до вечера мы бесцельно шлялись по ущелью, почти не разговаривая друг с другом; ничего не хотелось и не думалось ни о чём.

Вечером, на закате солнца, когда пили чай у костра, солдат сказал:

– Вот бы на том свете эдакая жизнь, – тихо, смиренно, и никаких делов! Таешь вроде как масло, и ниоткуда тебе – ни обиды, ни беспокойства.

Осторожно вынув трубку, он добавил, вздыхая:

– Н-да, кабы на том свете эдак-то, я бы очень бога умолял: «Прими, господи, душеньку мою поскорей!»

– На тебе, боже, что мне не гоже, – задумчиво перебил его речь Василий. – А я бы вот не сумел так жить, – день, два, ну, ничего, можно, а долго – нельзя...

– Работал ты мало, – сказал солдат сквозь зубы.

Всё было как и вчера об эту пору: так же славно заливал ущелье сизоватый туман, сверкали в красном блеске солнца серебряные зубья гор, сонно покачивал мягкими вершинами лиственниц густо-тёмный лес на горе; таяли, во мгле, камни, рождая тени, пела свою песню сваха-река.

И так же не торопясь, тяжело, точно кабаны, возились около барака большие, гладкие плотники.

Не однажды – то один, то другой – мы пытались познакомиться с ними, потолковать у безделья, но они отвечали нам неохотно, односложно, и каждый раз, когда затевался разго-

вор, белый старичок ласково покрякивал своим:

– Эй, Павлуша-брат, поторапливайся, гляди!

Он заметнее других показывает, что не хочет знакомиться с нами; неустанно, однообразно, точно споря с рекою, он тихонько мурлыкал свои благочестивые песни, а иногда, поднимая гнусавый голос высоко и требовательно, пел их громко, наянливо, целый день они текли мутным ручейком, наводя тоску. И с утра до вечера, бережно переставляя с камня на камень свои тонкие ноги, он ходил около работы, описывая один и тот же круг, словно желал протоптать тропу, которая ещё более заметно отделила бы нас от плотников.

С ним не хотелось говорить, его застывшие глаза холодно отталкивали ещё издали. Однажды я подошёл совсем близко к нему, но он, спрятав руки за спину, попятился назад и спросил негромко, строго:

– Ну, что?

И у меня пропала охота узнать – какие это песни поёт он?

Солдат, обиженно следя за ним, ругался:

– Колдун. Снохач. Деньжищ, поди-ка, у него, благочестивца, накоплено...

И сейчас, раскуривая трубку, он, скосив пустой глаз в сторону плотников, сердито ворчал:

– Ведь какими благородиями держатся, сукины сыны, гляди-ко ты!

– Это у нас всегда так, – сказал Василий, тоже сердито, – чуть только человек сыт немножко – сейчас нос кверху – ба-

рин!

– Что ты всё говоришь – в нас, да в нас!

– Ну, в русских...

– Того лучше! А ты – немец, татарин?

– Не татарин, а – недостатки вижу...

Они уже не первый раз за день начинали этот спор, он, видимо, надоел им, и теперь оба говорили лениво, без сердца.

– Недостатки, назад пятки, – попыхивая дымом, мямлил солдат. – Неладно ты говоришь, брат! Это – измена, твои слова...

– Кому?

– Русским...

– Ещё что скажешь?

Новый звук долетел в ущелье, где-то в степи ударили в небольшой колокол: суббота была, звали ко всеобщей. Солдат вынул трубку изо рта, замер, прислушался, а когда колокол крикнул третий раз – он, сняв картуз, истово перекрестился, говоря:

– Церквей здесь маловато...

И тотчас, взглянув через реку, сказал, словно завидуя:

– Ишь ты, дьяволы, не крестятся, сехта окаянная... серба!

Василий покосился на него, шевеля усами, разгладил их левою рукой, взглянул вдоль ущелья, в небо, и опустил голову.

– Нет, – тихо заговорил он, – я ни в каком месте не могу долго жить, всё мерещится, что лучше есть. У меня в сердце

птица поёт – иди, иди!

– Это во всяком поёт, – угрюмо отозвался солдат.

Поочередно глядя на нас, Василий негромко засмеялся:

– Во всяком? А ведь это неладно! Ведь это значит – бездельники мы и норовим на готовое. Сами-то, значит, ничего того лучше, что есть, не можем сделать, а – подай нам!

Он смеялся, но глаза у него были грустные, и пальцы правой руки, лёжа на колене, шевелились судорожно, точно лова что-то невидимое.

Солдат нахмурился, замычал; мне стало тревожно и жалко Василия, а он встал и, тихонько насвистывая, пошёл берегом вниз по течению реки.

– Голова у него – дурная! – подмигивая вслед ему, забормотал солдат. – Прямо – не в порядке голова, я это сразу увидел. Слова эти его против России – к чему они? Про Россию, брат, нельзя говорить что хочешь, от своего ума. Кто её знает, что есть Россия? Каждая губерния – своя душа. Это никому не известно, которая божья мать ближе богу – Смоленская али Казанская...

Соскабливая щепкой жирную копоть со дна и боков чайника, он долго, точно жалуясь на что-то, ворчал под нос себе и вдруг насторожился, вытянул шею, вслушиваясь:

– Стой-ка...

Всё последующее было так же неожиданно, как вихрь в жаркий день, когда вдруг с края знойного неба налетит злою птицей чёрно-синяя туча и, обрушив на землю обильный ли-

вень с градом, избыёт всё, всё растопит в грязь.

С долины в ущелье шумно, со свистом и гамом, ввалилось человек двадцать рабочих; они вытянулись по тропе вдоль реки широкою, тёмной полосой, в руках передних тускло светились четвертные бутылки водки, почти у каждого за спиной висела котомка, некоторые несли на плечах мешки хлеба и харчей, двое надели на головы большие чёрные котлы, это придало им сходство с грибами.

– Полтора ведра, – крикнув, сообразил солдат, вставая на ноги.

– Полтора! – повторил он и, высунув кончик языка, положил его на губу, приоткрыл рот. Лицо у него стало удивлённо-глупое, жадное, он замер, и с минуту стоял неподвижно, казалось, его чем-то ударило и вот он сейчас закричит.

Ущелье загудело, как бочка, когда на дно её падают тяжести; кто-то бил кулаком в пустое железное ведро, кто-то пронзительно свистел, металось эхо, заглушая шум реки.

Всё ближе к бараку подходили отрёпанные люди в тёмном, сером и красном, с засученными рукавами, многие без шапок, в лохматых космах волос, все изогнутые усталостью, пошатываясь на развинченных ногах.

Глухой, разноголосый говор сердито вливался в трубу ущелья, кто-то хвастливо и надорванно кричал:

– Нет, говорю, шалишь! Разве мы ведро, говорю, пота-крови сёдня пролили?

– Озеро!

– Нет, поставь-ка полтора!

– Полтора, – третий раз сказал солдат вкусно и с уважением; покачнулся вперёд, точно его толкнуло в шею, пошёл через реку наперерез людям и потерялся среди них.

У барака суетливо бегали плотники, собирая инструменты, мелькал белый старичок, ко мне подошёл Василий, сунув правую руку в карман, держа фуражку в левой.

– Здорово напьются, – сказал он, прищурив глаза. – Эх, беда наша, водочка эта! Пьёшь?

– Нет.

– Слава богу. Не пьёшь – не пропадёшь...

С минуту он молчал, невесело смотрел на ту сторону, потом заговорил, не шевелясь, не глядя на меня:

– Глаза у тебя примечательные, парень! Знакомые глаза, видал я их где-то. Может, во сне, не знаю. Ты – откуда?

Когда я ответил, он туманно взглянул в лицо мне, отрицательно качнув головою.

– Не бывал в тех краях! Далёко!

– Сюда – ещё дальше.

– Откуда?

– От Курска.

Он усмехнулся.

– Я – не курский, – псковской. Это я при солдате сказал, что курский, так себе, нарочно. Не нравится мне солдат, не хочется правду ему говорить, этого он не стоит. И зовут меня – Павел, а не Василий. Павел Николаев Силантьев, сказано

в пачпорте, – у меня и пачпорт есть... всё, как следует...

– Чего ты ходишь?

– Да... так как-то! Глядел-глядел, махнул рукой, а – ну вас! И пошёл, пером по ветру...

– Молчать! Я сам староста! – грозно закричали у барака, и тотчас же стал слышен голос солдата:

– Какие они работники? Они – сехта, они всё песни поют. И снова кто-то орал:

– Обязался ты, старый чорт, к воскресенью кончить постройку?

– Побросать у них струмент в речку!..

– И начинается скандал, – равнодушно проговорил Силантьев, опускаясь на корточки пред углями костра.

Вокруг барака, чётко выделяясь на светлой его полосе, суетились, как на пожаре, тёмные фигуры, ломали что-то, трещало и шаркало по камню дерево, звонкий голос весело командовал:

– Тихо-о! Сейчас я всё налажу...

– Плотники – вертись живо! Дай сюда пилу...

Командовали трое: рыжебородый мужик в матросской фуфайке, высокий, сиплый, на тонких ногах; длинной рукою он держал старика в белом за шиворот, встряхивал его и с яростным наслаждением орал:

– А где у тебя нары, а? Готовы, а?

Очень заметен был молодой, широкоплечий парень в розовой рубашке, разорванной на спине от ворота до пояса; он

совал в окно барака тесины, покрикивая звонко:

– Принимай! Настилай!

А третьим командиром был солдат, он толкался среди людей и злорадно пел, ядовито разделяя слога:

– Ага-а, са-во-ла-чи, сехта! Они на меня никакого внимания, се-рба! Я говорю: ребята, торопись, пожалуйста! Прибудет усталый народ...

– Чего ему надо? – тихонько спросил Силантьев, закуривая папиросу. – Водки? Водки дадут... А что, брат, жалко тебе народ?

Он смотрел сквозь синий дым табака на алые угли, они цвели на камнях, точно маки; заботливо сдвигая их обгоревшим сучком ближе друг к другу, пскович строил золотисто-красный холм, и в его красивых глазах светилась благочестивая любовь к огню. Должно быть, вот так же смотрел на огонь древний, кочевой человек, с такою же молитвенной лаской в сердце, играя благостным источником света и тепла.

– А мне народ жалко: бесчисленно много пропадает его зря! Глядишь-глядишь на это – просто беда, брат...

Ещё на вершинах гор догорал день, но в ущелье уже отовсюду темно смотрела ночь, усыпляя нас. Говорить не хотелось, и не хотелось слышать тяжёлый шум на том берегу, – неприятный шум этот даже тихому звону реки придавал сердитый тон.

Там зажгли большой костёр, потом вспыхнул другой; два огня, шипя и потрескивая, окружаясь синими облаками ды-

ма, стали спорить друг с другом, бросив на белую пену реки красные, кисейные ткани; между огнями метались почерневшие люди, сладкий голосок призывно покрикивал:

– Подходи, не задерживай, подходи!

Звенело стекло стакана, рыжий мужик внушительно гулко сказал:

– Их учить надо!

Старичок-плотник отделился от людей, осторожно щупая ногами камни, брошенные нами в реку, перешёл на нашу сторону, присел на корточки и стал, фыркая, плескать водой в лицо себе, весь розовый в густых отблесках огня.

– Ударили, должно быть, – тихо сказал Силантьев.

Да, ударили. Когда он подошёл к нам, мы увидели, что по его усам и мокрой белой бороде текут из носа тёмные струйки крови, а на рубахе, на груди – тоже пятна и полосы.

– Мир беседе, – строгим голосом сказал он и поклонился, прижав левую руку к животу.

– Садись, милости просим, – сказал пскович.

Теперь старик напоминал изображение святого отшельника – маленький, сухой и чистый, несмотря на рубаху в крови. От боли и обиды или от углей костра его мёртвые глаза как будто ожили, стали светлее. И ещё строже. Смотреть на него было неловко, стыдно.

Покрякивая, шмыгая широким носом, он отёр бороду ладонью, а ладонь – о колено, протянул над углями старые, тёмные руки и сказал:

– До чего вода в речке этой холодна – просто ледяная...

Силатьев спросил, взглянув из-под ресниц в лицо ему:

– Больно ушибли?

– Не-е. По переносице ткнул. Это место на кровь хлибкое.

Господь с ним, ему с этого не прибудет, а мне страданье – в зачёт перед духом святым...

Он поглядел на ту сторону реки: берегом шли двое людей, плотно прижавшись друг к другу, и тянули пьяными голосами:

Умру я тёмной ночью

Осеннею порой...

– Давно меня не били! – заговорил старик, приглядываясь к ним из-под руки. – Годов... годов с двадцать, поди-ка, не били уж! И сейчас – зря, никакой моей вины нет. Гвоздей мне недодано, деревянным колышком многое пришлось вязать. Тёсу не хватает, того, сего. Ну, – не поспел я к сроку, а вина – не моя. Они – для экономности – воруют что попало, старшие – главные, я не отвечаю. Конечно, я признаю это: дело казённое, люди они – молодые, жадные, – сделай милость, воруй! Всякому хорошего охота взять задёшево... А моей вины в этом нет. Озорники. Пилу порвали у старшего сына моего, новая пила. Мне, старику, кровушку пустили...

Его маленькое, серое лицо сморщилось, стало ещё меньше, он прикрыл глаза и всхлипнул сухим, скрипучим звуком.

Силантьев завозился, тяжело отдуваясь, – старик внимательно взглянул на него, высморкался, вытер руку о штаны и спокойно спросил:

– Будто видел я тебя где?

– Видел; весной был я у вас в станице... Молотилки чинил.

– Так, так! То-то я гляжу. Значит, это ты? Несогласный?..

Качая головою, старик усмехнулся:

– Помню я речи твои, да! Всё так и думаешь?

– С чего мне думать иначе... – хмуро спросил Силантьев.

– Так...

Старик снова протянул над углями тёмные руки; далеко отогнутые большие пальцы странно топырились, шевелясь не в лад с другими.

– Так и думаешь всё, – строго и насмешливо заговорил старик, – супроти богом установленного бороться надо, а? Терпенье – зло, а боренье – добро, а? Эх, парень, слабая твоя душа. Токмо духом сатану победишь, духом, знай...

Не торопясь, Силантьев встал на ноги и сердито, грубо, не своим голосом сказал, тыкая рукою в сторону старика:

– Слышал я это, не от тебя одного слышал! Не люблю я вас, эдаких вот, духовных...

Он крепко выругался.

– И не с сатаной бороться надобно, а вот – с вами, вороньё чортово! Мертвяки...

Отшвырнув ногою камень от костра, он тяжело пошёл

прочь, сунув руки в карманы, плотно прижав локти к бокам, а старик, усмехнувшись, сказал мне тихо:

– Гордый! Ну, это не на долгое время...

– Почему?

– Уж я знаю, – сказал он и замолчал, склонив голову на плечо, вслушиваясь в крики за рекою, – люди там всё пьянели, и кто-то вызывающе бухал:

– Хо-хо! Я? Ха!

Я посмотрел, как Силантьев, легко прыгая с камня на камень, перешёл реку и вмешался в толпу, безрукий, издали заметный среди людей; мне стало скучно без него.

Шевеля пальцами, точно колдуя, старик всё держал пальцы над углями; переносье у него вспухло, под глазами вздулись желваки, он смотрел из-за них и беззвучно двигал двумя полосками тёмных губ, оттенённых белыми усами и бородой. Уродливое лицо его, очень древнее, в крови, плохо смытой из морщин, снова напоминало великих грешников, уходивших от мира в леса и пустыни.

– Видал я гордых, – заговорил он, встряхивая головою без шапки, чуть покрытой жидкими волосами. – Большой огонь – скоро и горит, а вот эти угольки золой, пеплом прикроются – до восхода солнца могут тлеть, уцелеть... Ты, паренёк, подумай над этим! Это есть не простые слова, а – учение...

Надвинулась, налегла мягкой тяжестью чёрная ночь, такая же, как вчера, – душистая и тёплая, ласковая, как мать. Ярko пылали огромные костры, их жар доходил до нас через

золотую реку дымным теплом.

Старик сложил руки на груди, сунул ладони под мышки и уселся поудобней.

Я хотел положить на угли сучьев и стружек, – он строго сказал:

– Не надо!

– Отчего?

– Увидят они огонь – полезут сюда...

И отодвинул ногою наломанные мною сучья, повторив:

– Не надо!

Сквозь жидкий огонь в реке к нам, не спеша, перебрались двое плотников с ящиками за спиною, с топорами в руках.

– А те – ушли? – спросил старик.

– Все ушли, – ответил большой мужик без бороды, с обвисшими усами.

– Отыди ото зла – сотворишь благое.

– Нам бы тоже уйти...

– От неконченного дела – нельзя уходить. Посылал я в обед Олёшу, сказывал – не пускали бы людей, а они – на-ко вот! Ещё сожгут барак, напившись яду...

Я курил; усатый плотник потянул носом сладкий дым и сплюнул на угли. Другой, молодой и пухлый, точно пожилая баба-калачница, как сел, так и задремал тотчас же, опустив встрёпанную голову на грудь.

Шум за рекою стал тише, а в центре его настойчиво возвышался пьяный, воющий голос солдата:

– Стой, отвечай мне! Как ты можешь Россию не уважать?
А-а, Рязань – не Россия? А кто – Россия?

– Кабак, – тихонько сказал старичок, но сейчас же добавил громче и обращаясь ко мне:

– Это я про них кабак, мол... Чу, как надсаживаются, ве-
сёлые...

Теперь кричал парень в розовой рубахе:

– Взы, солдат, кусай его за горло, взы!

Был слышен суровый возглас Силантьева:

– Ты что – собак травишь?

– Нет, ты мне отвечай! – выл солдат.

Старичок спокойно заметил:

– Должна быть драка...

Я встал, пошёл на ту сторону и слышал, как он негромко
сказал своим:

– Ну, вот, слава богу, и этот откатился...

Встречу мне с того берега чёрной кучей валились люди,
ухая, гикая, кряхтя, точно они поднимали и волокли боль-
шую тяжесть; бабий тонкий голос визжал:

– Я – вша-а?

– Бро-осьте!

– Бей его!

– Бросьте-е!

Из толпы вырвался Силантьев, выпрямился, страшно и
широко взмахнув правой рукою, снова прыгнул на людей;
парень в розовой рубахе тоже замахнулся огромным кула-

ком, и тотчас раздался мягкий, хряский удар, – Силантьев отпрянул назад и беззвучно осел в воду, под ноги мне.

– Так, – внушительно сказал кто-то.

На секунду шум оборвался, и в уши сладко влилось пение воды, потом кто-то бросил в реку большой камень, кто-то тупо захохотал.

На меня лезли люди; я наклонился к Силантьеву, пытаюсь поднять его, он лежал наполовину в воде, грудью и головой на камнях.

– Убили человека, – крикнул я, не веря в это, только для того, чтоб напугать, остановить людей, мешавших мне.

Кто-то трезвым голосом, недоверчиво спросил:

– Ну-у?

Парень в розовой рубахе пошёл прочь, покрикивая с фальшивой обидой в голосе:

– А хоша бы? Он – не лай! Какой я разоритель земли?

– Где солдат этот, который подзуживал, который сторож?

– Несите огня сюда...

Говорили всё трезвее, спокойней и тише. Маленький мужичок, с головой, повязанной красным платком, наклонился, приподнял голову Силантьева, но тотчас небрежно выпустил её из рук, сунул руки в воду и чётко сказал три слова:

– Верно, убили, помер...

Я не поверил словам, но, взглянув, как вода реки перекачивается через ноги Силантьева, поворачивает их и они шевелятся, словно пытаюсь сбросить истоптанные сапоги, вдруг

всем телом почувствовал, что держу в руках руки мёртвого, выпустил их, и они шлёпнулись в воду, как мокрые тряпки.

На берегу стояло человек десять, но когда мужик сказал свои слова, они, все сразу, метнулись прочь, нелепо толкаясь, покрикивая озабоченно, устало:

– Который ударил?

– Погонят теперь с работы.

– Солдат волынку эту завёл...

– Верно, он...

– На него и показывать!

Парень в розовой рубахе ныл:

– Братцы, я – по чести! Драка ведь...

– Колом бить – это, милый, не драка.

– Ох – камнем, а не колом...

Тонкий бабий голос искренно возопил:

– Ах ты, господи! Всегда у нас что-нибудь случается...

Я сидел на камнях, отупевший, ушибленный, всё видя, ничего не понимая. В груди странно опустело, крики людей будили желание орать во всю силу, кричать, в ночи, медной трубою.

Подошло двое людей, передний нёс в руках пылающую головню, помахивал ею, чтоб не погасла, и сеял на пути своём золотые искры. Он был маленький, лысый, узкий, как щука, поставленная на хвост, а из-за его плеча выглядывало чьё-то серое, каменное лицо с открытым ртом и круглыми совиными глазами.

Подойдя к труп, он наклонился, упираясь одной рукой в своё колено, и осветил измятое тело Силантьева, свёрнутую на плечо голову; я не узнал красивое казацкое лицо: задорный вихор исчез в большой шишке чёрно-красной грязи, вздувшейся над левым ухом, скрыв его; усы и рот сдвинулись на сторону, обнажив зубы кривой, страшной улыбкой; ещё страшней был левый глаз – он выкатился из орбиты и, безобразно огромный, напряжённо смотрел на откинутую полу пиджака, во внутренний карман, откуда высунулась белая каёмка бумаги.

Осыпая искрами это искажённое и жалкое лицо в красных полосках влажно блестящей крови, человек рисовал головнёю в воздухе над ним огненный венец и, причмокивая, ворчал:

– Ну конечно... чего тут?

Искры падали на голову Силантьеву, на мокрую щёку и гасли, в яблоке глаза играл отблеск огня, от этого глаз казался ещё мертвей.

Человек медленно расправил согнутую спину, швырнул головню в реку, сплюнул вслед ей и, поглаживая лысый череп, зеленоватый в темноте, сказал своему товарищу:

– Ну, ты ступай тихонько, бережком, до того барака, скажи там: человека, мол, прикончили...

– Я боюсь один...

– Бояться нечего, иди, знай...

– Жуть...

– А ты – не дури-ко!..

Над моей головой раздался спокойный голосок старика-плотника:

– Я с тобой пойду, ничего...

Он натягивал на белую голову измятый картуз и брезгливо говорил, шаркая ногою о камень:

– Кровища-то до чего нехорошо пахнет! Ногой, видно, попал я в кровищу в эту...

Лысый, сощурившись, присматривался к нему; белый старик тоже озирает лысого неподвижными глазами, продолжая строго и холодно:

– Всё – водочка да табачок, сатанинское зелье...

Они оба были похожи друг на друга и на колдунов: оба маленькие, острые, как шилья, зеленоватые во тьме, как лишай.

– Идём, брат, со духом святым...

Не спросив, кто убитый, не взглянув на него и даже не поклонясь покойнику, – как требует обычай, – старый плотник пошёл по течению реки, осторожно переступая с камня на камень; за ним, нерешительно качаясь, стал шагать длинный, серый человек, они уплывали во тьму беззвучно, как два облака.

Узкогрудый лысый пощупал меня острыми глазами, вынул папиросу из жестяной коробочки, звучно щёлкнул крышкой её, зажёл спичку и сначала осветил лицо убитого, потом уже закурил, тихонько говоря:

– Это вот шестого убивает на моих глазах...

– Как это: убивает? Убивают!..

Помолчав, он спросил:

– Чего ты сказал? Не пойму...

Я объяснил:

– Убивают люди друг друга...

– Ну, это всё равно! Люди ли, машина ли, молонья али так что-нибудь. Одного земляка машина прихватила около Бахмача, одного – вот эдак же – в драке прирезали. Бадьей, в шахте, пришибло тоже...

Считал он спокойно, но ошибся: насчитал только пятерых. Стал озабоченно вспоминать снова – получилось семеро.

– Ну, всё едино, – сказал он, вздохнув и затягиваясь так сильно, что всё лицо его облилось красным отблеском огня папиросы. – Всех – не сосчитать, которые вот так – по случаю – пропадают. Не будь я старенький, то и я бы где-нибудь пропал, ну – старость зависти не порождает. И – живу. Ничего, слава те, господи!

Кивнув головой на Силантьева, он продолжал:

– Родные его али жена будут теперь вестей, писем ждуть от него. Не пишет. Тут они подумают: загулял, дескать... Забыл своих...

Около барака становилось всё тише, костры догорали, люди таяли во тьме. С гладкой, жёлтой стены пристально смотрели на реку тёмные, круглые глаза сучьев. Одно окошко без

рамы мутно светилось, из него вылетали на волю отрывистые, сердитые возгласы:

– Сдавай скорей!

– Хлюст в трефях...

– А здесь – козырной с барданом!..

– Фу ты, дьявол! Вот – судьба...

– В картах – не судьба, а – ловкость, – сказал лысый, сдувая с папиросы пепел.

Неслышно перешёл реку усатый плотник, остановился около нас и тяжело вздохнул.

– Что, землячок? – спросил его лысый.

– Да вот, – негромко, смущённо сказал плотник, такой огромный, мягкий в темноте, дали бы вы мне курнуть разок.

– Можно! На папироску...

– Спаси Христос! А то – баба забыла табачку мне принести, да и дедушка у нас насчёт курева строгий...

– Это – который ушёл?

– Ну да, он...

– Закурив, плотник спросил:

– До смерти убили?

– Помер...

И оба замолчали, покуривая.

Перевалило уже за полночь. Изорванная полоса неба над ущельем была похожа на синюю реку, течёт она тихонько над землёй, окутанной ночью, и плывут в её гладких волнах яркие звёзды.

Становится всё тише, ночнее...

И как будто не случилось ничего особенного...